
Чалмаев В.А.

Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы

Рассказ «Родинка», опубликованный 14 декабря 1924 года, по праву может считаться сжатым, предельно сконцентрированным прологом (и эпиграфом) ко всему циклу «Донских рассказов». Если вся гражданская война — это пространство «плотно обступивших экстремальных ситуаций», когда «жизнь врага теряет святость» (С. Семенова), то в «Родинке» это страшное пространство особенно сгущено, собрано в фокус, раскрыто в сюжете *трагического неузнавания*. Рассказ — «язык пространства, сжатого до точки» (О. Мандельштам).

«Родинка», по существу, имеет два сюжета. Внешний, эмпирический, взятый из сферы классовой борьбы, и внутренний, раскрывающий путь героев к трагическому неузнаванию и запоздалому опознанию отцом (по родинке на левой ноге) сына в убитом «классовом враге», к пониманию того, что «выборочное классовое братство», размежевание по избранной политической вере не побеждает родства по семье, по крови.

Внешний сюжет складывается сравнительно легко, конфликтующие стороны в нем явно управляемы автором. Вот характеристика молодого Николая Кошевого, командира Красного эскадрона: «Кошевой Николай. Землероб. Член РКСМ» (то есть комсомолец). Антипод Кошевого, атаман белой банды, имеет во внешнем сюжете свою, еще более краткую анкету: «Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, *потом Врангель*, в солнце расплавленный Константинополь (то есть исход белых армий из Новороссийска или Севастополя в Турцию)... и — банда». Как добавление к этой анкете звучат какие-то невыразительные общие слова о банде, новом товариществе, родстве, но не по крови, не по семье: «отъявленный народ в банде, служивский, бывалый... полсотни казаков донских и кубанских, *властью советской недовольных*». Маловато, конечно, сведений. Бегло намечена и канва разворачивания этого внешнего сюжета, просто обязанного разрешиться боем, схваткой, смертоубийством: «Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет». Долго продолжаться эта маета не могла.

Отправной точкой в развитии внутреннего сюжета является, конечно, первое воспоминание того же Николки о детстве, об отце и былом родном доме. И хотя Шолохов не объясняет еще смысл названия «Родинка», походя сообщает, что у Николки, как у отца, родинка на левой ноге величиной с голубиное яйцо, но легко догадаться: а ведь «родинка» — это многозначительное слово, *однокоренное* со многими иными, святыми словами — «род», «Родина», «народ»... Шолохову очень дорога мысль о близости людей по роду, по России, и он осторожно, в условиях 20-х годов, вводит тему родства сына и отца. Раскрытием этой темы является (в противовес сухой анкете) воспоминание Николки:

«Помнит будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок! — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась...»

Конечно, в силу тогдашних предписаний и догм, это светлое воспоминание (в полусне) «отдано» только Николке. Но разве можно отнять его, это достояние, у отца? Разве он только «набедивший волк», а не трагически исковерканный человек? Колыбель рода, казачий курень, двор и улыбающаяся мать (и жена) — это общее нравственное достояние и сына и отца, узнаваемое в полусне, сквозь частокोल догм. Оно вечно, как бы ни разрушало его политизированное сознание героев.

«Божись, что не за красных стоишь? Да не крестись, а землю ешь», — приказывает атаман мельнику Лукичу. За этим поверхностным, наносным он пытается скрыть что-то важное в душе. Но «внутренний сюжет» неумолимо напоминает о себе, вырывается

из подсознания, доносит мысль автора: не накопления злодейств ищет атаман, не волк он, а человек, идущий к дому, к сыну.

«На стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона... Боль, чудная и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой».

Соответственно этим двум сюжетам рассказ обретает две концовки. Одна из них — гибель Николки от рук налетевшего коршуном атамана. Правда, и сам Николка в рамках этой концовки выглядит тоже коршуном: атаман «издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное». Оба героя — сходные компоненты недолговечного и ужасного «политического пейзажа». И продолжение этой концовки, максимально приближающее отца к трагедии незнания: решение атамана снять хромовые сапоги с убитого... Может быть, рассказ мог быть вообще закончен на этом последнем «волчьем» деянии, на ноте ожесточения и злобы?

Но тогда не было бы высокой ноты очищения, покаяния, вопроса к судьбе, к истории! Не было бы крика, протеста против суровой истории, навязавшей размежевание, поправление рода, печальнейший итог:

«...Всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка Родной!.. — Кровинушка моя... Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?»

С этим вопросом, сложнейшим по своей нравственной тревоге — тревоги за множество родов, за Родину, родню, — и уходит герой из жизни, завершая внутренний сюжет. Значит, был и в его душе уголок, в котором жили святыни семьи, рода, надежды на повторенье себя в сыне...